

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

По делам службы. Антон Павлович Чехов

Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлег в земской избе. Тут же, в земской избе, по случайности, находился и труп, труп земского страхового агента Лесницкого, который три дня назад приехал в Сырню и, расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно для всех; и то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство; понадобилось вскрытие.

Доктор и следователь в сенях стряхивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял сотский Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином.

– Ты кто? – спросил доктор.

– Цоцкай... – ответил сотский.

Он и на почте так расписывался: цоцкай.

– А где же понятия?

– Должно, чай пить пошли, ваше высокоблагородие.

Направо была чистая комната, «приезжая», или господская, налево – черная, с большой печью и полатями. Доктор и следователь, а за ними сотский, держа лампочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши, и всё тут было нехорошо, жутко: и темные стены, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертвого тела. На столе был самовар, давно уже холодный, и вокруг него свертки, должно быть, с закусками.

– Стреляться в земской избе – как это бестактно! – проговорил доктор. – Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь в сарае.

Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следователь, сел напротив.

– Эти истерики и неврастеники большие эгоисты, – продолжал доктор с горечью. – Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой; когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствием; и когда ему приходит охота застрелиться, то вот он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе! Потому-то старики так и не любят этого нашего «нервного века».

– Мало ли чего не любят старики, – сказал следователь, зевая. – Вы вот укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийствами. Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний – жизнь надоела, тоска... Что лучше?

– Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе.

– Уж такое горе, – заговорил сотский, – такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится, ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, всё табуном. И понятия тоже...

Доктор Старченко, мужчина средних лет, с темной бородой, в очках, и следователь

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Лыжин, белокурый, еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать, а был еще только шестой час, и им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, утренний холод; и, прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как всё это непохоже на жизнь, которой они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая непогоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. О, как дорого они дали бы теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане...

– У-у-у-у! – пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть, вывеска на земской избе. – У-у-у-у!

– Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться, – сказал Старченко, поднимаясь. – Еще шестой час, спать рано, я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон Тауниц, всего три версты от Сырни. Поеду к нему, проведу там вечер. Сотский, ступай, скажи ямщику, чтобы не распрягал. А вы как? – спросил он у Лыжина.

– Не знаю. Должно быть, спать лягу.

Доктор запахнулся в шубу и вышел. Слышно было, как он разговаривал с ямщиком, как на озябших лошадях вздрагивали бубенчики. Уехал.

– Тебе, барин, здесь ночевать не годится, – сказал сотский, – иди в ту половину. Там не чисто, да уж одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю, потом этого навалю тебе сена, спи, ваше высокоблагородие, с богом.

Немного погодя следователь сидел в черной половине за столом и пил чай, а сотский Лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за шестьдесят лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый, на лице наивная улыбка, глаза слезились, и всё он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, по-видимому, вызывала в нем жалость, и потому, вероятно, он говорил ему «ты».

– Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет становой или следователь, чтобы ему доложить, – говорил он. – Значит, такое дело, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снегу намело – страсть, пожалуй, придешь туда не раньше, как в полночь. Ишь гудет как.

– Старшина мне не нужен, – сказал Лыжин. – Ему тут нечего делать.

Он с любопытством посматривал на старика и спросил:

– Скажи, дед, сколько лет ты ходишь сотским?

– Сколько? Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того время каждый день хожу. У людей праздник, а я всё хожу. На дворе Святая, в церквах звон, Христос воскрес, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и, значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цифры записывать, – желтые, белые, красные, – и всякий барин, или батька, или богатый мужик непременно записать должен раз десять в год, сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые. Конечно, пиши что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру сказать, барина потрушить не к чему, сам знаешь, пустое дело, только руки поганить, а ты вот потрудились, ваше высокоблагородие, приехал, потому форма; ничего тут не поделаешь. Тридцать лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопал, и замерзал, – всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был...

– За что под судом?

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– За мошенничество.

– То есть как за мошенничество?

– А так, значит, писарь Хрисанф Григорьев подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле, меня за водкой в трактир посылали; ну, со мной писарь не делился, даже стаканчика не поднес, но как я по нашей бедности, по видимости, значит, человек ненадежный, нестойкий, то нас обеих судили; его в острог, а меня, дал бог, оправдали по всем правам. В суде такую бумагу читали. И все в мундирах. На суде-то. Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непривычного – не приведи бог, погибель сушая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома в волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисти.

– А сколько ты получаешь жалованья? – спросил Лыжин.

– Восемьдесят четыре рубля в год.

– Небось ведь и доходишки есть. Не без того?

– Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются всё. Ты ему бумагу принес – обижается, шапку перед ним снял – обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь, только насмежаются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин; и добрый, и, глядишь, чверезый, в своем уме, а как увидит, так и кричит, сам не понимает что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит...

Сотский проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать.

– Как? – спросил Лыжин. – Ты повтори.

– Администрация! – громко повторил сотский. – Давно уж так зовет, лет шесть. Здравствуй, администрация! Но я ничего, пускай, бог с ним. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают; мужики – те душевней, бога боятся: кто хлебца, кто щец даст похлевать, кто и поднесет. Старосты чайком потчуют в трактире. Вот сейчас понятия пошли чай пить. «Лошадин, – говорят, – побудь тут за нас, постереги», – и по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчерась дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли.

– А тебе разве не страшно?

– Страшно, барин, да ведь наше дело такое – служба, никуда от ней не уйдешь. Летось веду арестанта в город, а он меня – по шее! по шее! по шее! А кругом поле, лес – куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина, Лесницкого, я еще эканького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недощотовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше как в версте, и того меньше, межа с межой. И была у господина Лесницкого сестра девица, богобоязливая и милосердная. Помяни, господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помирала, то всё свое добро поделила; на монастырь записала сто десятин да нам, обществу крестьян деревни Недощотовой, на помин души, двести, а братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, ан – нет, погоди, на свете неправдой не проживешь, брат. Барин потом на духу лет двадцать не был, его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер, лопнул. Толстучий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, всё за долги забрали, всё как есть; ну, в науках далеко не пошел, ничего не может, и председатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думает, его, Сережу-то, к себе в агенты, пускай боится, дело немудрое». А барин молодой, гордый, тоже хочется да пошире, да повидней, да повольготней, ну, обидно, значит, в тележонке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать; ходит и всё в землю глядит, глядит и молчит; окликнешь его у самого уха: «Сергей Сергеич!» – а он оглянется этак: «А?» – и опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое, и не поймешь, что оно такое на свете, господи милостивый. Сказать, отец был богатый, а ты бедный, обидно, это конечно, ну, да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
моя, а казенная, и теперь в нашей Недошотовой, ежели говорить, мой дом что ни на
есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей. У Петрака было
четыре батрака, а теперь Петрак сам батрак.

– Отчего же ты обеднял? – спросил следователь.

– Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не
поверишь.

Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в
Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет всё ходить и ходить; и
сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных,
«нестоющих» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились
пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не
проживешь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. В
приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеялом, и ее можно было принести
оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник (который, быть может, садился
на нее перед смертью), и теперь на ней было бы неприятно спать...

«Еще только половина восьмого, – подумал Лыжин, взглянув на часы. – Как это
ужасно!»

Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лег
и укрылся пледом. Лошадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз,
почмокивая и вздыхая, всё топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел;
и, глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лыжин подумал:

«Точно колдун в опере».

Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и
снег на рамах.

– У-у-у-у! – пела метель. – У-у-у-у!

– Ба-а-а-т्यूшки! – провыла баба на чердаке, или так только послышалось. –
Ба-а-а-т्यूшки мои-и!

– Ббух! – ударило что-то снаружи о стену. – Трах!

Следователь прислушался: никакой бабы не было, выл ветер. Было прохладно, и он
сверх пледа накрылся еще шубой. Греясь, он думал о том, как всё это – и метель,
и изба, и старик, и мертвое тело, лежавшее в соседней комнате, – как всё это
было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как всё это было чуждо для
него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве или где-нибудь
под Москвой и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно
и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом; тут же, за тысячу
верст от Москвы, всё это как будто иначе освещено, всё это не жизнь, не люди, а
что-то существующее только «по форме», как говорит Лошадин, всё это не оставит в
памяти ни малейшего следа и забудется, едва только он, Лыжин, выедет из Сирии.
Родина, настоящая Россия – это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония;
когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например,
следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть светским
львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего
не хочется, легко миришься со своей незаметной ролью и только ждешь одного от
жизни – скорее бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским улицам,
заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко
сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что если он вырвется
отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не
поздно, и останется еще впереди целая жизнь. И, впадая в забытие, когда уже у
него стали путаться мысли, он воображал длинные коридоры московского суда, себя,
говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то всё гудит:

– У-у-у! У-у-у!

– Ббух! Трах! – раздалось опять. – Бух!

И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с
бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами,

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru черноволосый, худой, бледный; у него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий, умный профиль; и высокие сапоги, в которых он был, не тли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: «Это наш земский агент».

«Так это был Лесницкий... вот этот самый...» – соображал теперь Лыжин.

Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, и ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то, ходит точно так же, как Лесницкий.

Вдруг стало страшно, похолодела голова.

– Кто здесь? – спросил он с тревогой.

– Цоцкай.

– Что тебе тут нужно?

– Я, ваше высокоблагородие, спроситься. Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы. Приказывал прийти. Сходить нешто?

– Ну тебя! Надоел... – проговорил с досадой Лыжин и опять укрылся.

– Не осерчал бы... Пойду, ваше высокоблагородие, счастливо оставаться.

И Лошадин вышел. В сенях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понятия вернулись.

«Завтра отпустим этих бедняков пораньше... – думал следователь. – Начнем вскрытие, как только рассветет».

Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые, шумные. Хлопнула дверь, голоса, чирканье спичкой...

– Вы спите? Вы спите? – спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой; он был весь покрыт снегом, и от него веяло холодом. – Вы спите? Вставайте, поедem к фон Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемте, там, по крайней мере, поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в двадцать минут докатим.

– А который теперь час?

– Четверть одиннадцатого.

Лыжин, сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный, пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, которые, казалось, бежали в ужасе; под заборами и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следователь сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полость. Обоим было жарко.

– Трогай!

Поехали по деревне. «Бразды пушистые взрывая...», – думал вяло следователь, глядя, как пристяжная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы, и теперь тоже думал о покойнике.

– А у Тауница, – сказал Старченко, – когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял.

На выезде из деревни, на повороте, кучер вдруг крикнул во всё горло:

– С дороги!

Промелькнул какой-то человек; он стоял по колена в снегу, сойдя с дороги, и смотрел на тройку; следователь видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ему показалось, что это Лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез.

Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке; мелькали и старые сосны, и молодой березняк, и высокие молодые, корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес, но скоро всё смешалось в воздухе, в облаках снега; кучер говорил, что он видит лес, следовательно же не было видно ничего, кроме пристяжной. Ветер дул в спину.

Вдруг лошади остановились.

– Ну, что еще? – сердито спросил Старченко.

Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки; делал он круги всё больше и больше, всё удаляясь от саней, и было похоже, что он танцует; наконец вернулся и стал сворачивать вправо.

– С дороги сбился, что ли? – спросил Старченко.

– Ничего-о-о...

Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги и кучер слезал с козел и танцевал. Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно, и не было видно ни зги, точно неслись куда-то в пропасть, и вдруг – ударил в глаза яркий свет подъезда и окон, раздался добродушный, залихватый лай, голоса... Приехали.

Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле «Un petit verre de Clîquot» (3) и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахло теплом, запахом старых барских покоев, где, какая бы ни была погода снаружи, живется так тепло, чисто, удобно.

– Вот и прекрасно, – говорил фон Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следовательно руку. – Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но не долго, всего два года; приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу, – продолжал он, очевидно, сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко; он и гости поднимались наверх. – Жены у меня нет, умерла, а это, рекомендую, мои дочери. – И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом: – Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам!

В зале находились его четыре дочери, молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные, и их кузина с детьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь, и две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот, потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Clîquot», и дети запрыгали, топая в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали.

Потом дети прощались, уходя спать. Следовательно смеялся, танцевал кадрили, ухаживал, а сам думал: не сон ли всё это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги, и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех – такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он всё думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что всё здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничто не случайно, всё осмысленно, законно, и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе.

За ужином шел разговор о Лесницком.

– Он оставил жену и ребенка, – говорил Старченко. – Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножить себе подобных. Производить на свет нервных детей – это преступление.

– Несчастный молодой человек, – говорил фон Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой. – Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только:

– Да, самоубийства – явление нежелательное.

Он спал в теплой комнате, в мягкой постели, укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства; быть может, это оттого, что в соседней комнате долго разговаривали доктор и фон Тауниц и вверху над потолком и в печке метель шумела так же, как в земской избе, и так же выла жалобно:

– У-у-у-у!

У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор еще не помирился с этим и, о чем бы ни говорил, всякий раз вспоминал о жене; и в нем уже не осталось ничего прокурорского.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» – думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.

Следователь спал непокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница и не в мягкой чистой постели, а всё еще в земской избе, на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятые; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах, подходил к конторке бухгалтера. «Это наш земский агент...» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

– Мы идем, мы идем, мы идем.

Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели, точно в театре:

– Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли, всё имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, – это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:

– Мы идем, мы идем, мы идем... Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.

То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни – как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни – это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь... И опять:

– Мы идем, мы идем, мы идем...

Точно кто стучит молотком по вискам.

Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон Тауниц говорил громко доктору:

– Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе! Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.

– Но ведь только три версты, – говорил доктор умоляющим голосом.

– Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад крошечный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.

– Надо быть, к вечеру утихнет, – сказал мужик, топивший печь.

И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую всё видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно:

«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего...»

В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.

«А Лесницкий лежит, – думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах. – Лесницкий лежит, понятия ждут...»

Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец, ужинали. День прошел, легли спать.

Ночью под утро всё успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.

У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:

– Что ты тут стоишь, старый чёрт? Пошел вон отсюда!

По делам службы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Ваше высокоблагородие, народ беспокоится... – заговорил Лошадин, улыбаясь
наивно, во всё лицо, и видимо довольный, что наконец увидел тех, кого так долго
ждал. – Народ очень беспокоится, ребята плачут... Думали, ваше благородие, что вы
опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши...

Доктор и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!